

Мандельштам - поэт-пария | Mandelstam le poète, le paria

Автор: Жорж Нива (© пер. Вадима Пьянкова), [Женева](#) , 14.05.2013.



Вечный изгой Осип Мандельштам

В швейцарском издательстве вышла во французском переводе изумительная книга "Осип Мандельштам. Четвертая проза и другие тексты (1922-1929)".

Un livre *Ossip Mandelstam. La quatrième prose et autres textes (1922-1929)* a vu le jour grâce à la maison d'édition genevoise, La Dogana.

Mandelstam le poète, le paria

Цепь роковых событий началась в 1928 году. Безусловно, некоторые критики относили его к «буржуазным писателям», но кто не был таковым, исключая «пролетарских писателей»? Тем не менее, только что вышли его третья книга стихов и тут же, следом за ней, блестящее эссе «О поэзии». Никто не догадывался, что поэзия оставила его на несколько лет, и что губы его больше не шептали стихов.

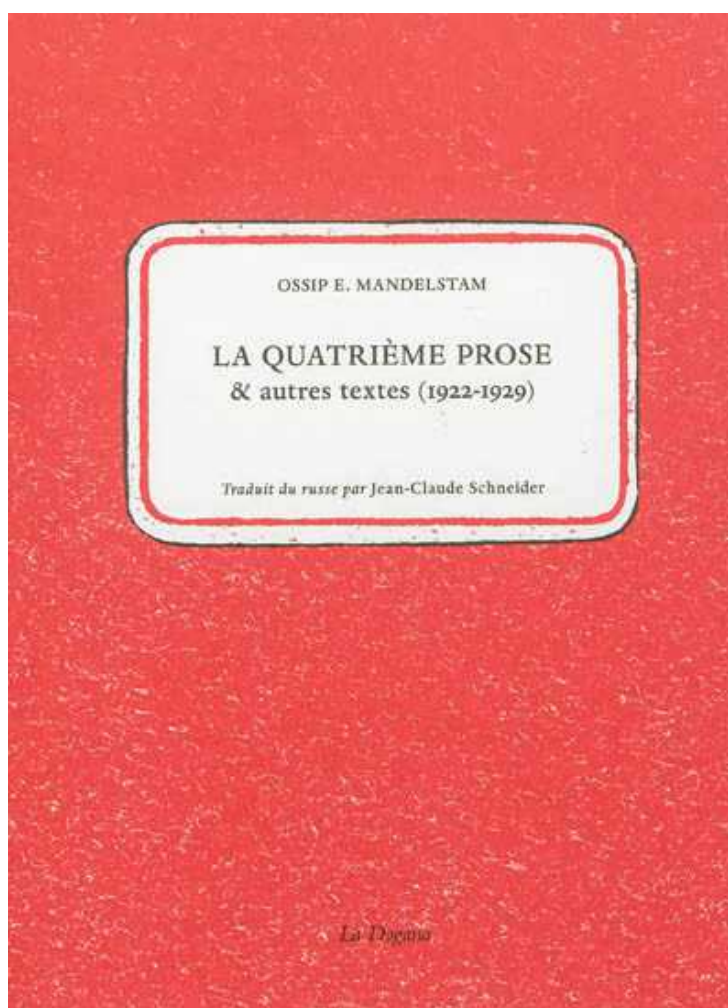
В ту осень издательство ЗИФ публикует русский перевод романа Шарля де Костера (1827-1879) «Легенда о Тиле Уленшпигеле», народном фламандском герое, которого бельгийский писатель сделал известным всему миру, написав роман на французском языке. Мандельштаму, учившемуся в своё время в Париже и переведшему фрагменты из Песни о Роланде, из Вийона, из Расина, было поручено отредактировать и объединить в одну две разные версии переводов этого романа. На титульном листе вышедшей книги в качестве переводчика упомянуто только одно имя: Осип Мандельштам. Опасаясь скандала, помимо официальной поправки (в виде вклейки), поэт предлагает перечислить весь свой гонорар критику Горнфельду, автору одного из двух переводов, к тому же вопиющему о краже. Поэта публично обвиняют в плагиате. Тот неумело защищается. Чтобы как-то заработать на жизнь, он продолжает работать в «Комсомольской правде», кажется спокойным, коллеги по журналу и не подозревают о его душевной буре. Но ночами он взрывается изнутри короткими и пламенными поэмами-памфлетами в неистовой прозе, сконцентрированной, как боксёрский удар. Так рождается небольшой поразительный свод текстов под названием «Четвертая проза», который и есть его четвёртый прозаический труд (после «Шума времени», «Египетской марки» и «О поэзии»). Ярость и резкость являются его поэтическим сплавом.

Один из самых великих поэтов-ясновидцев своего века чувствует, как день ото дня становятся изгоем. Этот изгой ясно читает по глазам великого тирана, как и в тусклых зрачках мелких литературных деспотов. Марш изгоя к своей смерти — запрограммированной, желанной — начинается с дела о плагиате «Тили Уленшпигеля». Он пройдёт через высылку в Чердынь, после неслыханных стихов в адрес тирана «с липкими пальцами», с последующей затем ссылкой в Воронеж, потом по этапу в ГУЛАГ и оборвётся последним вздохом на лагерных нарах во ВЛАДЛАГЕ под Владивостоком. В каком-то смысле он этого искал, он предсказал свою судьбу заранее, как все русские поэты. С 1925 года не он ли осмеливался писать: «Физически ясным становилось ощущение спустившейся на мир чумы — тридцатилетней войны, с моровой язвой, потушенными огнями, собачьим лаем и страшной тишиной в домах маленьких людей».

Чтобы описать изгоя, которым он себя ощущает, Мандельштам находит удивительные, душераздирающие слова: «Я — стареющий человек — огрызком собственного сердца чешу господских собак, и всё им мало, всё им мало. С собачьей нежностью глядят на меня глаза писателей русских и умоляют: подохни!» Или, к примеру, наблюдая за работой советской редакции, он рисует углём живую картину насилия, достойную времён крепостничества, царящую в самом сердце коммунистической Москвы, или рисует, как шарлатан, четвертует литературные трупы и ликует, когда «когда брызжет фонтаном черная лошадиная кровь эпохи». Поэт ощущает себя не только изгоем, но и клоуном, о которого вытирают ноги, в тексте, подвергнутом им самим приглаживанию и автоцензуре: «Я — китаец, никто меня не понимает». И этот китаец разделяет литературу надвое: на разрешённую, «сор», и на неразрешённую. Он вспоминает, как поэт Есенин, совершивший самоубийство в 1925 году, провозглашал: «Не расстреливал несчастных по темницам» в то время, как многочисленные поэты-чекисты расстреливали, а другие тщетно искали «прививку от расстрела».

И этот изгой пляшет, вопит, продолжительно смотрит на лезвие Жилетт, при помощи которого он затачивает бесполезные карандаши, и видит небритых людей, размахивающих над ним кремниевым лезвием, чтобы кастрировать его: «от них

пахло луком, романами и козлятиной».



Нет, не страх гложет парию, а холодное отвращение. Что ещё у него отнимать? Он не ведёт архивов, всё сочиняет про себя, он без «письменности», без жилья и без шинели. Ибо та шинель, из которой Гоголь сделал вечную спутницу жизни несчастного Акакия Акакиевича (со времён Проспера Мериме, название этой повести на французском языке неудачно переведено словом мужского рода «manteau», в то время, как правильнее было бы употребить существительное женского рода «pelisse»), та самая шинель, которую город-палач содрал с плеч печального Акакия, только что получившего её у портного Петровича ценою целой жизни лишений, эта шинель возникает, как нежный кошмар в рассказах поэта, собранных здесь, распростёртого поперёк пролётки, «как это бывает у покидающих после долгого пребывания больницу или у выпущенных из тюрьмы».

Чтение прозы Мандельштама требует той же чуткости, что и чтение поэзии. Никакая психология не прошивает её, как прошивают матрацы, а его сюжеты – экипажи без подвески. Всё сухо, тряско, случайно и несущественно. Похоже на графический чертёж эпюра: видения, звуки, жестикующие жизни. Своего рода сушка белья, где небо — словно прачечная, в которой развешены повадки, формы, люди и животные. Идёт ли речь о Крыме, где он провёл 1917 год, о Грузии, куда он прибыл в 1918 из Крыма (пройдя через белый бастион Врангеля и грузинских меньшевиков), или же о Москве, покрытой слоями белого известняка, как «Гора Сэнт-Виктуар» Поля Сезанна — глаз Мандельштама увеличивает всё, подобно гоголевскому, разбивает всё вдребезги, подобно взгляду кубиста Пикассо. Потрясающе его описания батумского базара или московского рынка: в людской

давке он различает цирковой галоп и звериные лики, картинки народного бытия и средневековое самобичевание.

Тот, кто знает стихи Мандельштама, улавливает кровное родство почти на каждом шагу, пусть даже материал остаётся тем же, но «стирка [...] пузырится» на других «реях». Здесь «крупной солью» сыпались на двор зимние звезды». Там «тает в бочке, словно соль, звезда / и вода студёная чернее, / чище смерть, солёнее беда, / и земля правдивей и страшнее». История также исходит из пейзажей, и, гуляя по улицам Киева, поэт чувствует «погромный липовый пух в нервическом майском воздухе».

Приходит на ум и другая метафора — амфорная. Как если бы все мандельштамовские тексты были узкими амфорами, врытыми в землю. В эссе «Кое-что о грузинском искусстве» Мандельштам пишет об опьянении культурой: «То что нельзя вывести из рассудочных данных культуры, из учёта накопленных ею богатств, есть именно дух пьянства, продукт таинственного внутреннего брожения: узкая глиняная амфора с вином, зарытая в землю». Когда открывают амфору, из неё вырывается минеральная пена Нарзана, воспетая в радостном, почти ликующем (что так редко у него) маленьком тексте «Кисловодск весной». «Недаром горские народы зовут нарзан «Нардсаном», что означает «богатырь-вода». Из поэтического грунта Мандельштама можно откопать множество черепков греческой и итальянской античности. Как подземелья Феодосии, крымского города неподалёку от керченского пролива, напичканы черепками и осколками греческой и генуэзской керамики, так и человеческая порода, снующая в Киеве или Батуме, нашпигована черепками ненависти, зависти, алчности. Эти черепки как бы антропологические пережитки маленькой, но могущественной Лигурийской республики, отправившей когда-то своих колонистов в Киммерию, а вскоре обещанная большевистскому игу. Под влиянием генуэзского синдрома генералы Врангеля превращаются в кондотьеров, и греко-лигурийский город предстаёт перед нами в медитации, подобный античному амфитеатру с незрячими глазницами его масок. В знаменитом стихотворении Мандельштам прямо обрящается к столице Киммерии: «Окружена высокими холмами, / Овечьим стадом ты с горы сбегашь / И розовыми, белыми камнями / В сухом прозрачном воздухе сверкаешь». А в прозе изумлённый взор поэта замечает в идеальном полукруге холмов, окружающих Феодосию «высокое изящество японской причёски»...

Изгой Мандельштам, безусловно, является пристрастным судьёй индивидуумов. Горнфельд в бешеной тираде становится стаканом «анализа мочи Горнфельда», предлагаемым им вместо чая желчным критиком. «Погибнуть от Горнфельда так же смешно, как от велосипеда или от клюва попугая». Короленко, великий и благородный русский народник, сравнивается с бельгийским королём Альбертом, скупавшим Африку целыми странами. Но как только речь заходит о взгляде на эпоху, злопамятный мятежник превращается в ясновидящего Тиресия. Именно поэтому рябой бес с таракаными усами присматривает за ним краем глаза. Четвёртая проза это начало игры кота Сталина с «попугайчиком» Мандельштамом. Жестокий кот, кот-людоед, каких можно увидеть на русских лубках («Большой обедала»). Кот, удовольствовавшийся сначала тем, что накинуд чёрный мешок на клетку с «попугайчиком», голосок которого ему докучал, думая так заставить того заткнуться, потом кот мигнул глазом, и воронежский ссыльный отправился на последние муки на Дальний Восток. О «попугайчике» больше не слышали. Но и под чёрным покрывалом, он яростно и злорадно щебетал - то как ясновидец Тиресий, то как бунтарь Тиль...

Осип Мандельштам. Четвертая проза и другие тексты (1922-1929). Перевод с русского Жан-Клода Шнайдера. [Изд. La Dogana](#).

Жан-Клод Шнайдер продолжает этой маленькой, но такой трудной книгой свою работу над новыми версиями переводов поэта. Как резная вырезка, почти достойная оригинала. Короткое и проясняющее предисловие, которое помещает Мандельштама под знаком Рэмбо, с его разрывами и с его озарениями.

От редакции: С оригинальным текстом Жоржа Нива вы можете ознакомиться в его [блоге](#) на нашем сайте.

[швейцарская культура](#)

Source URL: <https://nashagazeta.ch/news/15420>